



Литературная запись
 ВАДИМА КУРОПАТКИНА.

Полк стал на ночлег в Падинском. Бойцы разошлись по хатам. Они рады обогреву, ужину, и никому дела нет до меня, до моих надежд и опасений, от которых перехватывает дыхание. Не терпелось ни минуты дольше — Грушевка рядом, рукой подать. Еще от Новосельцев мы томились: знали, пройдем где-то вблизи от родного села. И вторые сутки мечтали, как бы, пусть ненадолго, пусть всего на часок, заскочить домой. Увидеть мать с отцом, глянуть своими глазами на хатенку, где родился и вырос, узнать, кто из сверстников жив, кого убили или угнали в Германию.

Разметались автоматчики на соломе, и меня неудержимо в сон потянуло. Ноги гудят, налились тяжестью, и обмотки влажные. Посушить бы у печи, но сил не хватает — обмотки три метра длиной, как двенадцать раз обкрутишь ногу, так конец. Навернуть же их плотно, чтоб нигде не давило и не разматывались, большое искусство. В шутку звали мы обмотки «голенищами».

После взятия Ага-Батыря мы не разувались и не раздевались, лишь мечтали об этом. Да и нельзя в наступлении: вдруг тревога? И сейчас прикорнул я на скамье, зажав между

колен автомат и ремень на шинели отпустив на две дырочки. Тщетно пытался стряхнуть мгновенную обморочную усталость. И глаза таращил, и за руку себя щипал — не помогало. Я и сам не знал, сколько длилось это забытье. Может, минут десять, может, три часа. Очнулся внезапно, как и заснул, будто что-то толкнуло меня изнутри. Встряхнулся и слышу, петух орет. Хрипло, задорно. Так и шпарит без передышку: «Кукка-рре-ку! Кукка-рре-ку!» Не всех, значит, фрицы переловили и сожрали, осталось куриное племя. Сграбастал бы его в охапку, горластого, и расцеловал, честное слово!

У нас, да и по всей Грушевке, куры черные, крупные. Яйца от них намного крупнее, чем у леггорнов, и не белые, а рыжие до желтизны. Петухи же красавцы, других не держали. Гребешок кровавый, торчкастый, хвост красно-сизо-зеленый и драчуны ужасные. Хотел как-то я петуха поймать, а он мне в кровь разодрал руки шпорами и глаз клювом едва не выдолбал. Интересно, словить ли фрицу такого голыми руками?

Тем временем яснее обозначились угол печки, хозяйкины ноги в заляпаных навозом башмаках, торчащие с лежанки, спящие на полу вповалку автоматчики, и я вышел во двор.

...Разъяснено окончательно, и дорога, что идет на Грушевку, далеко проглядывается в белых полях: накатана,

темнее цветом, по обочинам серые пласты снега. Гитлеровцы, отступая, технику по ней гнали. Сейчас шагнуть, и... Уже никакими силами невозможно переносить неизвестность. На месте не стоит.

И вдруг — своим ушам не верю, донеслось из-за забора:

— Передельский! Где Передельский? К комиссару!

Это посыльный из штаба. Неужели меня? Неужели?..

Улица гудела. Летели посыльные с приказами, сматывая катушки провода, пробежали связисты Андрей Кулеш с Алексеем Дзикевичем. Вон кашевар растапливает походную кухню. Картошку в мундирах, что ли, варить собрался?

— Тпру, дьявол!

Иван Костарнов резко осадил тройку вздыбившихся вороных лошадей. Он привстал на передке пушки, крепко намотав вожжи на руку. Вид у него залихватский.

— Есть новости?

— В штаб вызывают,— отвечал я на ходу.

Зеленые пушки с зачехленными стволами выкатывались из дворов, выстраивались на проезжей части улицы. Лошадей мало, больше запряженные парой верблюды. Они отошали, горбы у них обвисли — тянут полковую артиллерию от Ага-Батыря. В песках, где пресная вода на вес золота, незаменимый транспорт.

Из проулка, ревя трубой, вымахнул здоровенный верблюд и скачками понесся по улице. Пушка, высоко прыгая на резиновых колесах, угрожающе раскачивала стволом, неслась прямо на людей, Я отпрыгнул к забору.

— Стой! — перепуганно вопил молоденький ездовой, размахивая палкой.— Стой, тебе говорю!

Путаясь в полах шинели, ездовой едва поспевал за верблюдом. Что же стряслось? Васька — это кличка верблюда, значит в полку как необыкновенный лентяй. Сколько ни лупи палкой, умрет, но последним из

своих собратьев поднимется с земли и замыкающим пойдет в походной артиллерийской колонне.

Пушка задела угол хаты, опрокинулась. Васька, запутавшись в упряжи, повалился на колени. Подхожу, бока верблюда тяжело ходят, с губ хлопьями падает пена, весь дрожит. Ездовой плачущим голосом:

— Намучился с ним, паразитом, спасу нет! Бью-бью, он же и ухом не ведет. Помните, под Новосельцами сарай загорелся? Ну, снарядом подожгло? Так вот, Васька в сарае был закрыт, чуть не сгорел. И сейчас, подлец, видите, весь в ожогах.

Бойцам потеха, бесплатное развлечение. Они хохочут, тут же помогая незадачливому пареньку: распутывают постромки, шлею, ставят на колеса пушку. Верблюд успокоился, в его глазах появилось осмысленное выражение. Я вытер ладони об его подпаленную шерсть, двинулся дальше.

У школы свертывался, готовясь к выступлению, медсанбат. Грузят на подводы ящики в красных крестах, выносят на носилках тяжелораненых. Вон того, с известковым носатым лицом, я знаю: помогал Лене Полетенковой с поля боя тащить. Принесли, а хирург Юля Рудакова — не улыбающаяся, как сейчас, а строгая, в окровавленном халате, распорол раненому штанину, и... Пересиливая себя, я приподнялся на цыпочках и из-за ее плеча всмотрелся — на левой ноге, ниже колена каша из размозженных костей и мускулов. Разве человеческая нога может быть такой безобразно раздутой, с влипшим в черное мясо песком?

Юля переглянулась со вторым-хирургом — Диной Гапоновой, странно вздернула шей и отошла: проталкивали в дверь новые носилки.. и на них тоже окровавленный кто-то, стонущий.

Лена Полетенкова задержалась у подводы, я на особицу поздоровался с ней. Худенькая, но отчаянная санитарка шла под Ага-Батырем с цепью автоматчиков. Под ураганным огнем она волокла на себе Костю Исакова, но

помочь ему уже не смогли... Ни на секунду не забыть, как вжался я тогда в песок, хватая руками его и подгребая под себя, а минный визг вгрызался в затылок, пули дырявили лунки у самой головы. Может, в тот миг я дал себе клятву, что если выживу... Тогда же отыскал возле медсанбата Костю Исакова — не мог поверить в его смерть. И попрощаться хотелось с земляком, погибшим первым из нас. Костя лежал под шинелью, нос заострился, глаза остекленели — он был равнодушно мертв. Кто еще умрет, кто дойдет?

Да, прорывая оборону немцев, в первом же бою мы из мальчишек вышли сразу в ветераны. Но до одури мечтали, как после победы — обязательно после победы! — вернемся в Грушевку, разукрасим село, как игрушку, не жалея рук, изменим его биографию. Ведь людские поселения, подобно человеку, имеют свою биографию, свое неповторимое лицо. Далеко до победы, а Грушевка — перед нами, рукой подать... Зачем меня вызывают?

В штабе шумно, но не по-вчерашнему: деловой шум. Четвериков, широко расставив ноги, слушал начальника штаба. На гимнастерке комиссара две шпалы и медаль «20 лет РККА». Он кадровый офицер, на вид лет пятидесяти, но широкие плечи развернуты, как у спортсмена. Когда я доложил, комиссар басом, не по уставному пригласил:

— Садись.

Он пододвинул мне стул, присел сам. Лицо у Четверикова квадратное, открытое — волевое и симпатичное лицо. Он задал мне вопрос, другой, и незаметно для себя я разговорился. Чувствовалось, что комиссару любая подробность интересна: и где стоит наша хата, и какой урожай зерна брал колхоз с гектара, и здоровье отца перед моим призывом в армию. Сердце билось часто, короткими ударами. Уже не предположение, а твердая уверенность окрыляла меня — наступаем на Грушевку.

Подошли к столу другие офицеры.

Я взял себя в руки, успокоился. Постарался отвечать кратко, точно. Пусть командиры ясно представят местность, на которой полку придется, возможно, принять бой.

Стаховский сдвинул на угол стола тетради, расстелил карту. Разгладив сгибы, уперся красным карандашом в быстро отысканную точку:

— Колодец на Дозовке знаешь? Пацаном в него не падал, глубину не мерял?

ПНШ-1 весело подмигнул мне. Он любит шутку, пользуется всяким подходящим случаем, чтобы подбодрить солдат, и мы после Ага-Батыря влюбились в него, дорожили бесстрашным командиром, его доверием.

Лозовкой же зовется лощина по дороге из Грушевки в Калиновку. В империалистическую лес по ней вырубил и старики ходили туда резать молодые побеги на обвязку веников. Хорошие веники в Грушевке вяжут, пышные, красивые. Шла гибкая лоза и на другие крестьянские нужды.

Что касается колодца, догадка Стаховского близка к истине. Своды выложены бутовым камнем, крышкой он не закрывается, и в расщелинах живут воробьи. Мальчишками мы лазали вниз, нащупывая ногами выступы камней, выдирали из гнезд птенцов. Принесешь домой, съешь непонятным хлебом, пхаеть, а воробьишки головенками вертят, не клюют.

— Хутор Сбитнев!

Прервав мою мысль, Стаховский провел от колодца красную черту вверх. Мы оба склонились над картой.

Хутор на восток от села, километрах в трех. Только грушевцы зовут множественным числом: «низовские хутора», вот как это звучит. До колхоза там было хозяйств двести, а заправлял всеми богатейший кулак Сбитнев. Он так прижал бедняков, столько лучших земель оттягивал, что мужики с тайной ненавистью и внешней почтительностью величали его помещиком.

Лысенко, до этого вполголоса беседующий с комбатом Умировым,

постучал по карте ногтем.

— Наш сосед, 867-й полк, — сказал он, — послал в Грушевское разведку. Она не вернулась.

Подполковник подвигал густыми, цвета ваксы бровями. Пауза затягивалась, но никто не нарушал молчания.

— Что с ними? — подумал Лысенко вслух и обратился ко мне, отчеканивая каждое слово:

— Житель ты, Николай, местный, каждую кочку знаешь, тебе и карты в руки. Поведешь разведгруппу, но будь осторожен. Ваша задача — отрезать обозы немцев на хуторе Сбитнев. Ясно?

— Так точно!

Я вытянулся по команде «смирно».

Стаховский добавил, что по данным дивизионной разведки обозы движутся на Грушевку с Елизаветинки и на хуторе останутся на отдых.

— В ваше распоряжение предлагается два ручных пулемета и два противотанковых ружья.

Лысенко испытующе смотрел на меня. Краска залила лицо. Неужели выгляжу таким сопляком, что командир полка сомневается? Мне уже девятнадцать, Стаховский, пощипывая щеточку усов, напутствовал:

— Постоянно держите связь по радиации.

— Разрешите выполнять?

Комиссар стиснул в ладонях мои плечи, с высоты своего роста пробасил:

— Не каждому выпадает на долю освободить родное село. Ни пуха, ни пера!

Не знаю, почему Четвериков употребил чисто гражданский оборот речи. Может, в академии так принято провожать товарищей на экзамены?

Я не шел, а летел в распоряжение роты. Какое доверие оказано мне! Впервые отвечаю не только за себя, но и за ребят, своих однополчан, кто пойдет со мной в разведку. Собраться бы с мыслями, обдумать, как не провалить задание, не погубить зазря чью-либо жизнь, но где там! Сердце разрывало грудь. В это нельзя поверить, но ведь

через час-другой я буду выбивать гитлеровцев, возможна, несобственной хаты!

Мы вышли в девять утра. Я повел разведгруппу напрямую, через, степь, метаясь на Лозовку. Низом со свистом гнало поземку, склоны бугра впереди дымятся. Снег сыпучий, и, казалось, степь ожила: шуршащие быстрые змей, сшибаясь и разбегаясь, пересекали ее. Мы брели в снежной мгле, ветер настырно подталкивал в спину, торопил.

— Музыка добрая, — крикнул мне в ухо Савенко. — Хоть Лазаря пой!

Лицо его накалилось, кирпично-красное, в ярких конопушках. Колечко рыжих волос выбилось из-под белого капюшона, заиндевело. Прикрываясь от ветра рукавом маскхалата, Сашка совал мне кусок, хлеба с салом. Лишь здесь я удивленно вспомнил, что за сборами совсем забыл о завтраке, и сразу ощутил в желудке сосущую пустоту. Молодец земляк!

Савенко легко втянулся в службу, поражая и бывалых солдат отчаянной храбростью. Только никак на первых порах не мог привыкнуть к жидкой фронтовой кормешке. Глаза у него всегда были жадные, так и ищут, чего бы съесть. За волчий аппетит он однажды пострадал.

До чего дошло — стали пропадать во взводе пайки хлеба. Как-то, когда Сашка дежурил, ребята наметили несколько паек: насыпал я на горбушки крошку химического карандаша. Утром подъем, у земляка вид невинный, а рот раскрыл, язык аж черный, фиолетово-синий. Вывели Савенко перед строем, пристыдили хорошенько, и не обиделся он на товарищей за науку. Разживется трофейными консервами, шоколадом, весь взвод пирует.

Степь клубилась седой пылью. Я оглянулся, и не увидел ни крыш: ни труб — ничего. Только цепочка бойцов проглядывалась человек на шесть и терялась в поземке. Грудью натыкался на звенящие шумные кусты горькой полынки. Лопушистые, обглоледившие

они всеми дрожащими отросточками рвались за мной, по ветру. Будто кто схватил кусты мощной рукой и дергает изо всех сил. Так дошли до подножия бугра.

Савенко опередил меня, загруз в снежном заносе. Проваливаясь по колено, он протапывал след не жалея энергии. Я помогал ему, расширял, и мы, ощущая спиной догоняющих товарищей, полезли по склону вверх. Серебристые змеи опережали, свертывались в колючие клубки, вставали вихрями. Мимо меня пробежал шар перекасти-поля, застрял в ямке, и его тут же, на глазах, стало присыпать снегом.

Выбрались на покатую макушку бугра. Здесь ветер разгулялся вовсю — снег вырывало из-под ног, лицо обжигало хлесткой крупой. Ветер ударял порывами, и неожиданно так закручивало, что Сашку в двух шагах теряешь из виду — лишь подвижная стена поземки, стоящая почти вертикально, перемещалась по открывающейся внизу, дымящейся морозной пылью лощине. Стена мгновенно опадала, и я видел колодец — над ним столб пара, а под заснеженной шапкой скирда сена различал две темные фигуры и пару лошадей. Это с полкилометра от меня, не меньше, и простым глазом не разобрать, кто там — немцы или жители. Я трижды поднял руку и опустил. Стой! Ложись.

Шли мы так: в головной дозор взял я четверых земляков, отпросив у артиллеристов Ивана Костарнова и пулеметчика с бронебойщиками. Остальные были еще по ту сторону бугра, растянувшись метров на триста — бойцы двигались гуськом, след в след. Когда мой сигнал, передаваемый по цепочке от одного к другому, достиг замыкающего, они залегли.

Залегли и мы, посовещались. За себя спокойны — все в белых масках-халатах, и немцам, даже подползем вплотную, нас при такой погодке не обнаружить. Как говорится, полностью сливаемся с местностью.

Сделав глазомерную съемку, я

убедился, что ручной пулемет поразит с вершины цель у скирда.

— Костарнов, Савенко,— приказал жестяными губами,— выясните, кто берет сено. Если фрицы, постарайтесь взять живыми,— и ободрил напоследок:— В случае чего — прикроем огоньком.

Сашка, гибкий и мускулистый, как кошка, прыгнул и покатился под уклон. Иван за ним. Упершись локтями в камни, держа автомат наизготовке, я наблюдал за ребятами. Уже через минуту стал замерзать — тепла в организме не оставалось. Снег зернистый, крупный, так и сечет в лицо. Прихватило щеку. Вот прижгло нос, ломота в висках. Пальцы чужие, не слушаются. Редким счастливым доставались варежки, а то перчатки при распределении подарков фронтовикам. Скорей бы в лощину, в затишек. Чего хлопцы медлят?

Они уже близко от скирда. Момент напряженный, и я замерз, стараясь не смигнуть. Поползли... Сашка метрах в сорока от темных силуэтов вскочил, встал в полный рост. Он согнул руку в локте, а другой — с автоматом, взмахнул. Путь свободен!

Передав сигнал основной группе, я кинулся вниз. Ноги сами несли меня, и от бега я вскоре разогрелся. Гляжу, и у Васи Чернова изо рта парок, землистые щеки порозовели. Мы грудью штурмовали завалы, расчищая дорогу остальным — с подветренной стороны снегу под бугром намело кучами. Интересно, кто же у скирда?

Шагов с пяти я узнал в бородаче, опершемся красными ручищами на вилы, Константина Пикалова, мужика в годах. Он работал в колхозе учетчиком, а позднее чабановал.

— Ну, Константин, расскажи о противнике, что знаешь,— без всякой подготовки, с ходу спросил я. У мужика и лицо вытянулось, глаза растерянно забегали — никак не признает. Да и где признать? Уходили мы в армию зелеными юнцами, а сейчас повзрослели, одеты в военную форму, с автоматами.

Наскоро объяснили, кто мы и чьи,

руку по очереди пожали, но не до расспросов было — быстрее требуется обстановку выяснить да боевую задачу выполнять. И здесь от Пикалова мы услышали: разведку 867-го полка захватили и уничтожили гитлеровцы.

Загибая пальцы, Константин перечислял:

— На усадьбе эмтеэса танк спрятан, сам видел, как сюда ехал, да на птичнике. А в огороде у Багринцева пушки. Еще по дороге на хутор два танка в лесу стоят.

— Ничего не напутал? Все точно?

— Видал, что там стояли,— обиделся чабан,— а где сейчас, не знаю.

Мужики кончали укладку воза. Скирда уже брата я, сено зимовало, слежалось, и Пикалов размашисто дергал вилами, крикал, надсаживаясь под тяжелыми навильниками, и бросал на сани. Второй чабан, незнакомый мне, укладывал и утапывал сено на санях.

Кошара — я ее знал, на краю села. Недалеко от птичника, где у немцев танк замаскирован. Отару не успели эвакуировать, и Пикалов остался у овец. Надо же кому-то худобу кормить! Правда, фрицы пожрали много овец, но голов триста осталось. Чабаны решили хоть эту малость сохранить до прихода наших войск, отчитаться перед колхозом.

По рассказам Константина, враги, обнаружив и уничтожив разведку, забеспокоились. Обозы, шедшие с Елизаветинки, на хуторе останавливаться не стали, а прошли напрямик в село. Выходит, противник разгадал замыслы штаба полка и задача, поставленная перед нами командиром — отрезать обозы, потеряла смысл. Что делать дальше?

Глаз у чабана оказался зоркий, и сведения получены ценные. Составив устное донесение, я подозвал радиста. Выслушав меня, он залез с рацией под скирд, расчехлил ее и стал вызывать штаб. Будем ждать дальнейших указаний.

— Перекур, — объявил я бойцам. Пикалов подошел попрощаться.

«До скорой встречи!» — обнадежили мы. Я не боялся отпустить

чабана: на Константина можно положиться. Да и немцам не до баранины сегодня, так что на кошару не наведаются.

Кони застоялись, балуются, целят ухватить друг дружку зубами. Чабаны обтерли их намерзшие крупы жгутами сена, Пикалов взял кнут. Кони дружно напряглись, снег под стылými полозьями завизжал тонко, пронзительно, и воз стронулся. Глуше и глуше скрип, а через минуту сани растворились в седой белой мгле.

Мы укрылись от ветра под скирдом. Кто закурил, кто задумался. Как же погибли разведчики соседнего полка? Попали в ловушку? Нужно удвоить осторожность, иначе попадешь впросак, пропадешь ни за понюх табаку под самым домом.

Из-под скирда просматривалось село. Рельеф на Ставрополье известный — переливается степь волнами, и Грушевку заслонял от нас невысокий холм, словно застывшая снежная волна. На гребне следующей волны, как живо припоминал я, тесно, кучно начинаются хаты, однако поземка с туманом мешали их разглядеть. Лишь белыми шатрами, как в диковинном сне, плыли в струящихся потоках воздуха кроны раскидистых столетних груш.

Глянул на часы. Тринадцать ноль-ноль. Ветер к обеду угомонился, задул ровно, напористо, отгоняя мутную пелену в дальние поля и очищая ближайшую местность. Лощины, перепады бугров и перелески перемело до такой степени, что они похожи, как близнецы. Другой бы, не местный житель, ориентиры давно потерял и не смог бы определиться. Особенно когда так задувало, что не слышно кричащего рядом, а снег вздымался сплошной стеной и на глазах вырастали сугробы в рост человека. Возможно, именно в это время разведка соседей заблудилась?

— Так устал,— слышал я чей-то хриплый голос, — что легче умереть.

Обернулся, лицо у бойца белое, ни кровинки, кончик носа почернел.

Обморозил, ясное дело. Приказал растирать снегом, спиртом, и сразу поднялся веселый гвалт. Посыпались рассказы о проделках бурана, о том, что было всего два часа назад, и звучали они фантастично небывало. Не будь сам участником этого перехода, в жизнь бы не поверил.

А взыграет утихший буран, враз все это станет снова реальностью. Я как-то в азарте, душевном напряжении почти не заметил тяжести ходьбы. А бойцы? Горячего бы сейчас, с пылу, жару — ребята на шквальном ветру и морозе, без пищи, уже четыре часа. Ведь до костей пронизывало, все перемерзли, однако никто не отстал, не потерялся, и это уже хорошо. Только пережив сам, что творилось, я знал, как легко заблудиться, проплутать и замерзнуть в буранной степи.

Судя по всему стихло надолго, и теперь нашим помощником будет туман, надвигающийся на село. В курящийся молочный туман вкраплены две грязно-серые главы и три луковки церкви — они будто стоят в небе, не имея основания на земле. Вот церковные купола струнулись, поплыли куда-то на зыбком и колеблющемся туманном облаке... Знаешь, что это не так, но все равно опасаясь, как бы не рухнули.

Мельница ближе к нам, но и она отсюда крошечная, как спичечный коробок, поставленный стоймя. Над крышею высверкнули язычки огня, и вдруг разом полыхнуло пламя, обдав тонкие, мельче спичек, бревна второго этажа. Клубами повалил черный дым.

— Зажгли, сволочи! — вскрикнул Вася Чернов, весь вытягиваясь к пожару. — Это что же, а?

Мельница — гордость грушевцев, с детства возили мы с отцами зерно на помол, по-мужицки растирали в пальцах свежую муку и пробовали ее на вкус. Отличали и обыкновенную белую, и размольную, и конечно, крупчатку. А забыть ли сладкие блины, оладьи, калачи, пироги с яблоками и грушами? А чем хуже бублики, куличи, пирожки с капустой и мясом, печь которые моя мать,

великая мастерица?

Второй этаж мельницы из дерева, сухой, и пламя с жадностью набросилось на бревна. Я представлял, как, лопаясь и свертываясь, обгорела краска, как снопы гудящих раскаленных искр разбрасывает по дворам. Не загорятся ли ближайшие хаты, сараи?

Мы с тоской наблюдали за пожаром. Село затягивало туманом, даже школы Перцева не видать, а тем более нашей саманной хатенки. Помню сарай в углу двора, крытый соломой. День был жаркий, июльский, мы с дружкой разожгли под стенкой сарая костер — собрались сухари сушить. Огонь подобрался к нависающей соломе, крыша вспыхнула. Я перетрусил, убежал на выгоны, вернулся вечером. Отец и по сей день не знает, что сарай сгорел по моему недосмотру.

А вблизи от скирда, под которым прячемся, шагах в двухстах левее была наша бахча. Пока доберемся сюда на кобылице Зычке, сколько впечатлений по дороге! Отец добрый, по-хорошему толкует со мной и Митькой. Он лошадь распрягает, а мы уж соскочим с тяпками и в охотку, по холодку, прополем деляночку. Падают под ударами жилистый татарник, солодник, сковородень и, мешаясь с их зеленым соком, струится по лезвию тяпок белый сок молочая. Плети арбузные в желтых цветочках, а то и завязи встречаются в куриное яйцо...

— Первый, первый, говорит Ветер! — громко повторял радист. — Слышите меня?

«Первый» — это командир полка. Радист назойливо перечислял, в каких квадратах находятся «железки» — танки, где располагается «бог войны» — артиллерия. Мне эти квадраты знакомы действительно до каждой впадины, до мельчайшего куста. Здесь, на этих буграх, поросших изжелта-зеленоватой молоканкой, мы играли в Чапая. Я как старший, понятное дело, Чапай, брат Митька у меня Петька-ординарец, а Нюська — Анка-пулеметчица. Помню, нос у Нюски вечно облупленный, лицо обгорит, облезет, а ей хотелось, чтобы

личико белое, как у Анки в кино.

Молочай скот поедает, кролики, а молоканка ядовита, несъедобна. Намазалась Нюська молоканкой, все лицо волдырями и нарывами пошло, еле мать выходила. Мы с Митькой за недогляд порку получили, переживали за сестренку страх, но какие это были настоящие огорчения! Настоящая война докатилась сюда, и никогда уже, никогда, понимал я, не будем мы жить, как прежде. Я крадучись пробираюсь к селу, а что теперь с Митькой и Нюськой?

Радист замолчал, поправляя наушники. Первый благодарил нас за сообщенные сведения, приказывал группе выйти на северную окраину Грушевки и перерезать дорогу на Гофицкое. Оседлать ее, говоря по-военному.

— Пошли!

Бойцы, обжигая пальцы, докуривали самокрутки, притаптывали в снег.

Хутор Сбитнев неподалеку, в километре. Поскольку противник оставил его, шли мы быстро, без опаски нарваться на засаду. Тем более, туман прикрывал плотно, а понизу крутило степью не такую шквальную, как утром, но солидную поземку. Холод забирался в рукава, обжигал лицо и выстуживал тепло. Колючий, морозный воздух вызывал безудержный кашель, и Андрей Сухоруков бухал, как в бочку. Раздирал кашель и долговязых бронебойщиков, отчего они спотыкались и прилаженное на плечах обоим ружье с широким надульником дергалось взад-вперед. «Неуловимые,— усмехался я над собой и товарищами.— Кашляющая разведка!»

Ловя в просветах тумана ориентиры, я шел частым шагом и предостерегал себя от беспечности. Правда, опасность ожидала нас значительно дальше, у въезда в село. Там, по словам Пикалова, замаскированы в лесу танки. Если немцы обнаружат нас, обязательно навяжут бой, чтобы главные силы и обозы отступили в порядке. А мы должны помешать этому и незамеченными, как можно скорее, проскользнуть тылами немцев к грейдеру на Гофицкое.

Грушевка не первое село, откуда мы выбиваем фашистов, и я неплохо представлял, картину готовых, развернуться действий. Жаль, но отрезать и захватить обозы на хуторе не удалось. Теперь нужно наверстать упущенное, и командир полка, для которого это рядовая операция, разыграет ее как по нотам.

Так будет и теперь. Командиры крепко надеялись на нас, и нельзя ни в коей мере провалить задание. Я ощущал спиной, что бойцы подладились под мой шаг, идут скоро, легко, и перестал думать о неизбежном, с радостью ощущая автоматизм движений. Мое воображение распяляли танки, спрятанные в лесу, я мысленно грозил им и вспоминал клятву, данную себе в атаке под Ага-Батырем. Чувство своего бессилия перед бронированной, мощью врага заставляло тогда чуть не плакать от унижения. «Ты меня или я тебя, стальное чудовище? — проносилось в голове. И я поклялся перебороть свой страх, подбить рано или поздно хотя бы один танк и насладиться мезью.

На подходе к хутору остановились. Вышли мы на западную окраину. Перебежками, по огородам, я с земляками выскочил на улицу. Следовало заглянуть к деду, спросить о расположении врага, узнать о родных — неизвестность мучила сильнее всего.

Улица завалена снегом, пуста. Ни души, как вымерло. Приземистые хаты закиданы по окна, а где и с верхами. В садах кустиками помахивают верхушки груш — стволы занесло. У плетней и заборов непробиваемые сугробы.

Скрылись вновь в огородах, задами пробрались к дедовой хате. Дорожка к сараю расчищена, к порожкам ведет снежный коридор в рост человека. Жив Прохор Максимыч! Взялся за кольцо, дернул. Подождал и застучал кулаками.

— Кто стучит?— приглушенно отозвался дрожащий старческий голос.— Чего надо?

— Свои, открывай!

Звякнуло железо запора, и я вижу

деда — лицо измученное, серое, полумертвое от только что пережитого ужаса: так хозяйски, уверенно стучали одни немцы. Может, вернулись? Под глазами у деда иссиня-черные мешки, губы высохли, седые волосы космами выбились из-под истрепанной шапки.

— Дедушка! Прохор Максимыч! Дед узнал, обмяк, ребенком зарыдал у меня на плече. Неожиданная радость потрясла его, мы из сенцев зашли в холодную нетопленную хату, а он все не мог говорить.

— Как отец, мать? Что с Митькой?— закидывал я его вопросами, ощупывая взглядом хату. Голо в хате, тишина такая — хоть кричи. Лишь бабка больная бессвязно бормочет на печи да тихо, тихо, словно потакая тишине, тикают в переднем углу ходики. Под ними, приклеенный к стенке, примостился вырезанный из пожелтевшей газетной полосы портрет. Подхожу — Ленин!

— Живы, как же,— шаркал дед сапогами, приходя в себя и настраиваясь на разговор.— Митька в подвале прячется, хотели в Германию угнать, а Нюська здоровенная вымахала, замуж впору.

Ильич смотрел мне в глаза с укором, не прощая ни капельки вины. Прищурясь, такой милый и близкий, он словно спрашивал: что же ты так долго не шел, освободитель?

— Дедушка, не боялся?— спросил я, кивая на портрет.

— А кого?— сразу заерепенился, подбоченился старик.— Энтих, штоль? Сроду я никого не боялся. А с Ильичем, правду сказать, как-то веселее в хате. Страху меньше.

— А говоришь, не боялся,— поддел я Прохора Максимыча. Дед освоился окончательно, засуетился с рогачом у печи, доставая чугунок с картошкой.

— Приглашай товарищей, перекусите,— торопился он речью.— И хлебушко есть, как же голодные не сидим.

Я рассмеялся.

— Тебе ли такую ораву накор-

мить? Спешим мы, дед, извини. Скажи лучше, где фрицы?

Прохор Максимыч подтвердил рассказ чабана. Не мешкая, мы двинулись обходным путем к селу. Прошли полдороги, как послышалось два глухих взрыва. Что могут взрывать гитлеровцы? Ясное дело, мосты! Камня на камне, гады, не оставят в селе. Раздался третий взрыв, звук его гораздо громче.

Как узнали позже, Протопопов мост был разрушен с первого взрыва, а Центральный устоял. Своды его выложены искусно, кладка из массивных камней положена на извести — за десятилетия намертво спаяло, вот и пришлось врагу удваивать количество взрывчатки.

Подошли к балке. Лесистые склоны, речушка внизу подо льдом, в сугробах. Близка окраина села где-то неподалеку замаскированы танки. Пятнадцать ноль-ноль. Бойцы от быстрой ходьбы запыхались, обессилели, и я остановил группу на последний перекур.

Полезли кустарником вглубь, под защиту леса. Кустарник забит шарами курая — бураном сорвало их и согнало сюда со всей степи. Вон вздрогнул яшень, осыпаясь пушистым серебристым мехом. Зазвенела, как стеклянная, мерзлая ветка клена. Это ребята продираются, устраиваются поудобнее.

Мы же, пятеро земляков, остались сбочь дороги. Присели и затихли под пышным кустом боярышника. Куст инеем закрыло, гололедка мохнатыми щетками на ветвях нависла, пригнула их шатром.

— Терпения моего нет,— просипел Сашка Савенко.— Скорей бы уж!

— Сиди, — оборвал его Чернов.— Ишь, нетерпеливый какой!

Умяли площадку, сдвинулись теснее. Ветер в кустарнике ощущался не так остро, как в открытом поле, но тоже знобило. Поддувало во все отвороты, посвистывало зло, колюче, и я отчаянно тер ладони — руки заоченели.

Вдруг мы разом вздрогнули — заработал мотор. Рядом, совсем рядышком. Мгновенно рокот усилился, и

вот завывало надрывно, гнетуще, аж мурашки по коже. Водитель увеличил обороты двигателя, догадались мы. Видимо, прогазовывал.

— Танки! — запоздало крикнул кто-то. Крик тут же завяз в тумане. Рев у танка грубый, грозный, действующий на нервы. Прижухли ребята под кустом. Переглядываемся, понимая с полуслова. Снимаю с пояса противотанковую гранату, чеку выдернул... Слышен металлический лязг. Гусеницы.

Приподнялся... От куста к кусту — к дороге... Туман обманчивый, неверный, клочьями повис над лесом, клубился у ног. А с дороги туман протянуло, выгнало, как в аэродинамическую трубу. Ветер дует в лицо, наносит на меня устрашающий рев.

...Танк, изжелта-серый окраской, выполз кормой из леса на дорогу... Развернул тупогранную башню с черными крестами пушкой ко мне... Звук танка отчетливо отражался от стены леса, в какой-то миг пробежал отделяющие меня от него триста-четыре метра. Тупой ствол дернулся, из верхнего люка высунулся танкист, оглянулся и тут же спрятался, хлопнув крышкой. Танк — так же кормой неторопливо попер напрямиком на нас. Неужели заметили?

Если так, в момент ударят фрицы из пушки по кусту боярышника. Только бы хлопцев и видели! Но они, по моему сигналу, уже спускались к речке, в балку, а мне осталось принять единоборство. Вот оно, исполнение клятвы или...

Пригнувшись, маскируясь кустами, бежал я навстречу танку. В руке — холодная тяжесть гранаты. Секунды неслись незаметно, на лбу выступила испарина.

...Но что это?

Я будто споткнулся, затаился за кустом. Теперь секунды растягивались до невероятной длины, спину окатывало холодным потом. Танк, шагах в пятидесяти от меня, перестал пятиться, остановился. Я различал клепку на броне, намерзшие сучья и веточки, поручни для десантников, отшлифованные руками до блеска. Как же я об этом не подумал! Не

могут танки прикрытия быть одни... Десантники... Здесь, в лесу, в лесу...

Сердце запнулось, я не мог вздохнуть. Между тем все было спокойно в лесу, лишь танк примолк на дороге. Вот выхлоп, выхлоп... Струей вырвался из трубы черный дым. Башня повернулась вдоль по корпусу, пушкой вперед, как ей и положено быть. Незабываемый миг, когда молено рвануться и кинуть гранату! Но...

Танк тронулся с места. Он перемальвал траками снег, вышвыривал, будто бурю оставляя сзади. Снег поднялся столбом, и на минуту белая завеса скрыла стальное чудовище. Когда сыпучая морозная пыль осела, я вновь увидел уменьшенный десятикратно танк — оставляя позади клубящиеся вихри снега, он уходил в село. Значит, если и обнаружили немцы нашу группу, боя решили не принимать. А вернее, приказ получили сняться.

С трудом перевел я дыхание. Раздумывать некогда, нужно действовать. Кинулся по склоку вниз, догнал и собрал ребят. По-над речкой мы поднялись к селу.

С Черновым и Савенко, опять же огородами, как на хуторе, доползли до хаты Чаплыгина. Ребята за углом встали, я постучал. Теперь осторожно, тихо — знаю, ждет житель от громкого стука только беды.

И верно, без оклика сразу вышла на порог хозяйка.

— Немцы есть, бабуся?

— Здесь, здесь, проклятые, — зашептала, мелко крестясь. — У соседей сидят, полная хата набилась.

Выходит, повезло нам, не нарвались. Но до чего запугали старуху — сказала и юрк в сенцы, а дверь на засов.

Нужно спешить. Второй танк, стоявший в засаде, вынырнул из-за поворота и погромыхал к центру села. Следовательно, отдан приказ об общем отступлении. Не перекроем мы дорогу во время, враги безнаказанно уйдут на Гофицкое, а там укрепятся на заранее подготовленных рубежах.

Переждали, пока ушел танк. По-

совещались: как идти. В обход далеко, а я и мои товарищи знаем в селе все ходы и выходы. Рискнем?

Задворками и огородами повели бойцов в тыл врага. Как нам это удалось, лучше не вспоминать, но мы задами села точно вышли на грейдер. Маскхалаты, туман с поземкой и здесь помогли проскользнуть незамеченными.

— Богатый туманище,— заявил Сашка, не попадая зуб на зуб.— Ругали его, ругали, а он добрую службу сослужил, первым другом стал.

Разговаривать особенно некогда — в военком деле каждая секунда на учете. Главное, успели, опередили фашистов!

Перед нами — село. Я приказал рассредоточиться цепью, занять оборону и приготовиться к бою. Расползлись бойцы и залегли лицами к Грушевке. В чистом снежном поле кто кочечку едва приметную выбрал, кто хилый кустик бурьяна. Худая маскировка, а что поделаешь? Раскинулись на снегу в тонких шинелишках, брючонках... Странно, но никто из пехотинцев в войну не болел, не слышно было о простудах. Держишь себя в кулаке, расслабиться не даешь, нервы на тугом взводе.

Вдоль грейдера кюветы, в них лучшие автоматчики укрылись. Церковь от нас с полкилометра, возвышается она серой громадой над крестьянскими халупами. Хорошо рисуются ее колоннады, крыша сводчатого зала. Главы, крашенные когда-то зеленой краской, облупились, а кресты торчат черные, лишь в редких блестках позолоты. Вон четыре темных прорези колокольни, проглядываемых насквозь, одна через другую. Там, по нашим предположениям, немцы выставили наблюдателя. Грех не использовать такой готовый пункт наблюдения с дальним обзором.

На глаз определил расстояние, вижу, достанут пулеметы колокольню, и отправил пулеметчиков на края цепи: поддержат нашу атаку фланговым огнем. Себе выбрал место шагах в сорока от грейдера, повыше, чтобы просматривать

село и подступы к нам, и поместил рядом ружье ПТР. Другое по ту сторону грейдера, на таком же расстоянии.

Метрах в пяти от меня Сашка Савенко залег, а слева Иван Костарнов. Передаю им приказ: «Без команды не стрелять. Сигнал для открытия огня — красная ракета».

Побежал приказ в обе стороны раскинувшейся цепи, лишь головы в белых капюшонах шевельнуться и замрут, а за пятьдесят шагов ни в жизнь не заметишь бойцов, срослись они со снежным покровом.

Огороды, которыми двигались мы короткими перебежками, чтобы оседлать грейдер, шагах в тридцати. На меня выходит земляной, как легко догадаться, снежный вал,— по канаве вдоль него мы ползли, а справа невысокая, по пояс, стенка из камней. Бросок вперед, и мы в надежном укрытии.

За огородами притихшие хатенки. Они как бы взбираются на взгорок, пропадают и вновь появляются на следующем. Село наше не как многие — одной бесконечной улицей, а в несколько идущих параллельно улиц, очень компактное и сплошь в садах. Сейчас деревья вблизи еще различаются, а дальние сливаются белыми шапками.

Почти семнадцать ноль-ноль. Степь дымится. Поземкой наметало снегу под бока, присыпало. Затихли, замерли мы, прикрыв собой до поры автоматы, каждый наедине со своими думами. Потянулись томительные минуты ожидания, и чего-чего не приходило на ум. К приему врага готовы, и мне тоже можно отвлечься мыслями от ратного дела, согреться душой. В воспоминаниях и время скоротаешь.

Из села слышался лай собак, дальний гуд. Это невидимые танки разъезжают по улицам. Хатенки перед нами как вымерли, ни звука. За спиной, по-над грейдером, лесозащитная полоса, попросту «защитка», как здесь зовут. Трехметровые, тоненькие стволы акаций, ясеня в лад раскачивало ветром, и они дружно шумели, словно кто-то одинокий пел нескончаемую заунывную песню.

Память проворнее верткой юлы закручивала в недавнее.

По грейдеру частенько бегал я в Гофицкое, тогдашний районный центр. За учебниками — в восьмой класс уже перешел, по другой нужде. Помню, отцвела акация, но куст крушины стоял во всей пышной красоте цветения. Подошел полюбоваться, а из-под него выскочил препотешный зайчишка и заковылял в защитку. Догнать его не стоило труда, ухватил за уши, приподнял и жалостью обдало — передние лапки у малыша по суставчик обрезаны. В мае здесь клевера косили, видимо, и зацепило конной косилкой. Долго ли прохромает он на култышечках? Того и гляди, унесет хищная птица или придушит лиса.

Вернулся домой, вытряхнул зайчишку из школьной сумки с тетрадками и запер в сарае. Спал я на сеновале, набитом клевером и ночами слушал его возню — хромоногий, а беспокойный дружок попался. Держал его до глубокой осени, морковкой подкармливал, капустой, и вытянулся малыш в большого зайца. По первому снегу выпустил, а зайцу боязно убежать — присел на задних лапах, принюхивается, усами шевелит. Утром следующего дня замечаю, в сарае ночевал. Пришлось оставить дверь открытой.

Хлопает сарайная дверь ночи напролет, с матерью ругаюсь, а больно жалко мне зайца, привык к нему. Зайду по делу, а он под сеном ходы пробил, логово устроил. Высунется оттуда и стреляет в меня глупыми глазищами. В последний раз у ворот его перевстретил, когда бежал на подводу садиться, с повесткой в нагрудном кармане.

Ох, и голосила же мать! Вовек не забуду 16 апреля сорок второго года. Немцы надвинулись на Северный Кавказ, тревожно у сельчан на душе, а здесь всю молодежь в армию. Да спешным порядком, ни дня на проводы. Помню, долго бежали матери за подводами, выли в голос, будто покойников оплакивая. А мы допекали лейтенанта военкомата, тоже безусого, сердитым вопросом: «Если такая срочность, почему на

лошадях, а не автомашиной?» А знали же, ни одной в колхозах нет — отмобилизованы, на фронт отправлены.

Тянулись мы подводами по селу, и я ощущал непонятный холодок. Неужели возможно, что не вернусь сюда, буду убит, не увижу гусыни с гусятами, уток, шлепающих на скрытую зеленью копань? А рыжего телка, привязанного на колышке надсадно ревущего? А мать, мать с ее непривычно искаженным, страдающим лицом, неужели?..

И так мимо церкви, где расстались, оторвали насильно дорогие руки, за село. Распахнуто степное небо яркой голубизны, слепящее солнце и цветущая защитка. Зелено, в белых цветах акации гудят пчелы. Савенко тогда на ходу соскочил с подводы, рвал молочно-влажные цветочные гроздья и пригоршнями бросал нам. Беззаботно, мигом забыв тяжесть прощания, ели мы, как в детстве, медовую кашку. Неужели, неужели все это было? А солнце, такое свирепо-жаркое, раскаленное добела, что больно глядеть!

В глазах резь. И слепящие солнца. Много-много! Через силу зажмурился, открываю глаза, и вновь передо мною чистое снежное поле, хатенки на въезде, серая громада церкви. Пошевелился, чтобы согнать оцепенение. Мне знакомо это обманчивое ощущение покоя — так замерзают. Сказывается предыдущее напряжение, а ведь скоро бой. Вот-вот!

Ныл позвоночник, онемели пальцы ног. Тело не слушается меня, не напрягается готовно, когда я хочу. Ломота в висках, во лбу. Такая ломота, будто лоб просверливают. Что же, лежать, пока не охватит полная бесчувственность и не потянет в сон?

Превозмогая сопротивление тела, поворачиваю шею. Так и есть! Костарнов лежит подозрительно неподвижно. Дышу на пальцы, прячу на груди, отогреваю. Их болезненно прокалывает острыми иголками. Наконец, они повинуются. Перекатываясь, тихо-тихо добираюсь к Ивану, расталкиваю.

— Не спи!

Он будто не слышит, но спаси-

тельная боль от толчков приводит его в себя.

— Огляди соседа!

Костарнов пополз. Теперь пойдет, от соседа к соседу.

А Савенко молодец! Лежит собранный, сразу видно, улыбается. Улыбается, черт возьми! Это же надо. Чувствуется, что скоро дома будем.

Сколько же времени прошло? Оказывается, лежим всего минут двадцать. Ничего, перетерпим, зато гитлеровцам знатный сюрпризик преподнесем. Теперь скоро, действительно скоро, враги до сумерек выступят, не задержатся в селе.

И действительно, трех минут не прошло, на взволке от церкви показалась танкетка. Вынырнул вначале, уставясь в небо, ствол пушки, затем вылезла башенка. Медленно, натужно поднималась за первую танкеткой вторая. А где же танки?

Я автомат перед собою положил, сжал в голой руке ракетницу. В предощущение боя куда только разлетелись остатки сна, обморочная усталость, оцепенение! Тело вновь налилось, энергией, весь ты, как до предела сжатая пружина. Каждый фронтовик испытал это на себе.

Преодолев подъем, танкетки набрали скорость. Покачиваясь на выбоинах, они бежали среди хат снежной дорогой. А из-за взгорка лишь выдвигаются груди лошадей, верхи зеленых, цвета хаки, фур. Обоз следом вышел.

Ближе, ближе рев и лязг. Танкетки уже на выезде из села. Броню облепили десантники в грязно-зеленых шинелях. Лица у них тупые, без выражения. Не ждут, гады, встречи с советскими автоматчиками.

Пэтеэровец приник к своему ружью. Танкетка на прицеле и у второго ружья, я это знаю точно. А вдруг бронбойная пуля заденет рикошетом? Или вообще не попадешь? Пока развернешься с гранатой, весь эффект неожиданности насмарку, прорвутся немцы. Не растеряются, так ударят

пулеметами, прижмут цепь к земле, скосят поднявшихся бойцов. Не славу, а гибель найдем мы под родным селом.

Ну, а теперь на выдержку у кого крепче нервы. Еще ближе, как можно ближе подпустить гитлеровцев, расстрелять их в упор. Лишь бы какой-нибудь боец не открыл преждевременную стрельбу! Гусеницы скрежетали громко, отчетливо... Восемьдесят метров... пятьдесят...

Пора! Надавил спусковой крючок, цакнул боек, и ракета взвилась, чертя яркую низкую дугу. Она пролетела над головами десантников и ткнулась в снег. Почти одно временно бухнуло противотанковое ружье. Есть!

Танкетка дернулась. Пламя вырвалось где-то сбоку, вмиг разрослось, и грохот взрыва разодрал воздух. Прямое попадание в топливный бак! Умеют стрелять пэтеэровцы из взвода Михаила Чаплыгина, моего друга. Багрово-красный смерч загудел над горящей танкеткой, взрывы полосовали воздух — это рвались внутри снаряды, на снегу оседали копоть и чад.

Буквально чудом спасшись от смерти, десантники поспрыгивали моментом раньше. Петляя полем, с заячьей быстротой они улепетывали к селу. Те же, кто медлил, падали под нашим огнем в снег, взбрасывая руки или рушась на колени, и застывали серыми холмиками. Громко татакали пулеметы, я жалил одиночные фигуры короткими очередями.

Вторая танкетка на секунду замерла. Рывкнула ее пушка, и снаряд полетел черт знает куда. Залились, как сорвавшись с цепи, пулеметы. Но вид полыхающей соседки был так впечатляющ, что с перепугу дважды крутнувшись на месте и расшвыривая почти под гусеницы десантников — ни один добровольно не спрыгнул и не принял бой, они так и вцепились в поручни мертвой хваткой, хотя их швыряло и мотало при разворотах, будто мешки с опилками,— танкетка позорно показала зад, подпрыгнула, исчезла в снежном вихре и, моментально набрав

скорость, пропала за хатенками.

— Ур-ра!— заорал я, вскакивая и потрясая над головой автоматом. От невыносимой радости быть освободителем своих односельчан, от упоения боем я едва ли чувствовал себя, свое тело, и ноги сами несли меня вперед. Снежное поле мгновенно ожило, приподнялось, и цепь с громким «ура» и стрельбой рванулась в село.

Паника у врага была несусветная. И помыслить фрицы не могли, что при отходе на Гофицкое наткнутся на губительный огонь наших автоматов. Вот почему и танки командование отступающих частей поставило для прикрытия со стороны Падинского — оттуда уже наступал полк. Продвигаясь по селу, мы все отчетливее слышали дальнюю стрельбу, разрывы снарядов и гранат, нарастающее «а-а-а».

Двойного удара гитлеровцы не выдержали, заметались. Поспешно, на всем ходу разворачивался обоз. Мы добежали до церкви, то и дело встречая опрокинутые или брошенные фуры. Дико ржали мохнатые битюги, горели вещевые склады. Огни пожара ярко высветили улицу. Я наткнулся на лежащую на боку фуру. Из разбитых ящиков еще сыпались снаряды, один битюг бился в запутанных постромках, второй, упав поперек дороги, предсмертно храпел.

По данным разведки было известно, что ездовыми в обозах служат власовцы. Предатели пуще смерти боялись попасть в плен к своим, и мы не догнали ни одного. Или бросая хозяйское добро, или отчаянно нахлестывая лошадей, они проулками и закоулками выбирались из села, мчались по бездорожью куда глаза глядят.

Остальное, до встречи с командирами, помню смутно, обрывочно. Мы спешили к центру села главной безлюдной улицей. Как узнали чуть позже, танки прикрытия с автоматчиками почти не оказали сопротивления полку, ударившему в лоб. Артиллеристы заранее пристреляли места, где были замаскированы танки, и накрыли их плотным огнем. Видимо, и это оказалось

для врага гибельной неожиданностью. Спасибо Пикалову за сведения, благодаря им мы не потеряли ни одного бойца.

Обращенные в бегство, гитлеровцы так же по бездорожью, кинулись на запад и северо-запад, в направлении сел Сергиевского и Ореховского. Смеркалось, и противник затерялся в темнеющих снежных полях.

Вечер прикрыл село. Девятнадцатый час. Едкий дым пожарищ, груды разваленных камней. Это взорванный мост. Здесь, под школой, мы встретились. Офицеры оживлены, веселы, отходят от недавней схватки, комментируют, кто как себя вел. Лысенко принимает рапорты, отдает распоряжения.

Собрал я свою группу, наскоро выстроил. Чтобы все честь по чести.

— Товарищ командир, разрешите доложить!— обратился. В десяти словах рассказал о выполнении задания, спросил о свидании с родными.

Подполковник принял рапорт, объявил благодарность.

— Служу Советскому Союзу! — выпалил, вытянулся я, ощущая, как подобралась товарищи, повторили мои слова в один простуженный, стократно усиленный голос. Командир отпускал меня и земляков до двенадцати часов дня.

— Завтрашнего, — пробасил, улыбаясь, комиссар и загреб мою руку в свою.— Здесь, у школы, буду ждать с машиной. Не опаздывайте.

Между тем улица пришла в движение, огни внезапно вызвели сумрак. Село начинало жить обычной в таких случаях жизнью. Из подполья и чердаков, из сараев и банек, из печей и из-под шестков, отовсюду выползали перепуганные пальбой мужики и бабы, толклись около бойцов, приглашали в хаты.

От кучки к кучке подвигался, приближаясь к Лысенко, какой-то дедок с палкой в руке, под надвинутой шапкой, и спрашивал самого-самого главного начальника. Но я уже так и не узнал, чего он хотел: то ли сказать спасибо от имени жителей, то ли допытаться точно, не

вернутся ли немцы, чтобы успокоить старуху.

До нашей хатенки от школы Перцева с километр. Не задерживаясь ни секунды больше, пошел скорым шагом. Сельчане выходили за ворота, окликали проходящих бойцов, спрашивали, кончен ли бой. Шустрые пацаны бежали вслед, тербелили за шинель.

— Дяденька, будете еще стрелять?

— Пока отстрелялись,— отвечал я. Пацаны, опережая меня, заскакивали во встречные дворы, разносили радостную весть.

Всего девять месяцев, как провозжали меня отсюда на действительную службу, в действующую армию. И голосили матери, и старики давали наказ не пускать фашистов на Ставрополье. Восемнадцатилетними пареньками ушли мы, а мне кажется, повзрослел я за это время на целое столетие. Поймут ли близкие, друзья, почему не смогли мы удержать бронированный напор врага? Или для этого самому нужно испытать, как вражеский танк утюжит твой окоп, уже прихватывает гусеницами твои поднятые дыбом от страха волосы, засыпает тебя, живого, землей? Но ведь сейчас победителем иду я по селу, победителем! Эта мысль наполнила меня восторгом, а от ворот срывалось с женских и старческих губ:

— Дождались, слава богу...— Будь здоров, сынок!..— Заходи, солдатик, погрейся!

Свернул на знакомую улицу. Если сказать, что сильно волновался, значит, ничего не сказать. Робость какая-то на меня напала, в голове пустота. Чем ближе к нашей хатенке,— она самая бедная на улице, прижухла под соломой, когда другие под черепком, тем пуще робость разбирает, дыхание перехватывает. Как зайти, чтобы не испугать ненароком мать?

Любит меня мать до самозабвения, сильнее, мне думается, остальных братьев и сестер. Другие дети русые, удались в отца, а я единственный в нее, черный, как грач. Впрочем, мать загадочно говорила: «Всех одинаково

люблю, а каждого больше»,— и теперь я смятенно чувствую, какая пронзительная правда материнского сердца скрывается за этими словами. Предпочтение мне отдавалось, что совсем юным взяли меня в армию, зеленым. Знаю, переживала она эти девять месяцев за меня, убивалась, спасу нет. Войду, а ее удар хватит. Разве не может такого быть? Дед вон, и тот едва вынес потрясение встречи.

Ворота у нас хлипкие, просто четыре сбитых палки, переплетенных хворостом, и те открыты. Огляделся, во дворе все, как и при мне. Кухонька с разоренной крышей — так у отца руки и не дошли, сараюшки. Где-то заяц теперь обитает? Съели его, поди, давно.

Осторожно подошел к окошку. Тусклый свет чуть пробивается сквозь стекло, залепленное снегом. Поскреб ногтем, а под налетом мягкого снега стекло льдом прихватило, замуровало так, что ничего не разглядеть. Вот досада!

Натоптанной дорожкой ко второму оконцу передвинулся, и здесь повезло—стекло, разрисованное морозными узорами, внизу протаяло, дырочка в пятак светится. Подышал, протер рукавом шинели, и прикинул глазом. На закопченной матке лампа керосиновая подвешена, без пузыря и головки, а фитиль до конца закручен, чтобы светлее, и в этом колеблющемся неверном, свете вижу согбенную женщину, оттирающую солдатую азербайджанцу руки. Мать!

Уже не рассуждая — в хату. На порогах — затоптанный лед. В сенцах темно, но механически, по памяти, ни разу не споткнувшись, прошел и нашарил дощатую звонкую дверь, обклеенную газетами. Постучал.

— Войдите.

Как не узнать ее голос! Непонятная робость опять сковала меня, перевел дыхание и вошел, сразу погружаясь в тепло человеческого жилья. Дверь за собою прикрыл и остановился на пороге.

— Здравствуйте,— сказал осевшим голосом и молчу. Жадным взглядом обежал хату — она в одну большую

комнату, и в момент все увидел: и печь, и кровать у печи, в которой Митька с Нюськой под дерюжкой лежат, одни головы на подушках, и стол в другом конце, а на лавке вдоль стены впритирку азербайджанцы сидят. Сидят бойцы на табуретках посеред хаты, полукругом обсев мать, хлопчущую над красными ручищами верзилы с сизым носом и землистыми щеками. Не привычны азербайджанцы к степным буранам, резким холодам — много среди них обмороженных попадалось.

— Что же стоите? Проходите гостем будете.

Мать обернулась. Свет плохой, не разглядеть ей меня, и отпустив руки азербайджанца, она медленным шажком стала подходить ко мне, напряженно вглядывалась. Невыносимо долго длился момент узнавания, и я застыл с бьющимся сердцем, едва владея собой. Шажок за шажком, а сердце у меня вот-вот выскочит: ударится о притолоку, о кривую прогнувшуюся матку и шмякнется вдрызг на земляной, крепко убитый и чисто выметенный пол. Схватил, зажал его: нет, не выскочишь.

— Сыночек ты мой!— вскрикнула, наконец, мать, повисла на шее, вцепилась руками. Ее горячие частые слезы жгли мне губы, подбородок, скатывались за подворотничок гимнастерки. Чего не переносу, так это слезы, терпеть их не могу. И только рассердился на мать, как мигом все стало на свои места. Отодвинул ее, приказал:

— Мамка, не плачь! А то ругать буду или уйду вовсе. Радоваться должна, что живым пришел.

— Не буду, сынок, ох, не буду!

А у самой слезы бегут по ввалившимся щекам, но уже ясно, что это облегчающие, спасительные слезы. Ну, обошлось без удара, полный порядок.

Гляжу на мать, глаза набрякшие, лицо разъело морщинами, во все старуха. Сорок пять лет ей было, а по виду меньше восьмидесяти не дашь. Митька с Нюськой вскочили с кровати, подбежали босиком, мнутя растерянно, а обнять не решаются. Щекастые оба,

вытянулись, только лица будто пудрой кирпичной присыпаны—в мелкой красной сыпи. Снял я с плеча автомат, диск вынул и братишке передал:

— На, поноси.

А Нюська визжит оглушительно, сроду она отчаянная — и дралась, и бегала с нами:

— Папка, Колечка вернулся! Да папка же!

Здесь отец приподнялся на печи, слез, покряхтивая, стал обуваться. Азербайджанцы между собою что-то лопочут гортанно, без намека поднимаются с лавки, табуреток, один за одним проходят к столу — усадил. Ослаб он, худющий, костлявый, щетиной оброс, в бороде. Жакет на нем латаный-перелатанный, сам смущенно покашливает:

— Хвораю, Николай. Скрутило в три погибели, а держусь.

Нюська схватила мою шинель, шапку, потащила к вешалке. А мать, нет чтобы присесть, а сразу за чаплю, рогачи, за сковороды и чугуны. На ходу новости домашние рассказывает, и в полчаса до ужина я узнал все до мелочей.

Оказывается, о моем появлении родные уже знали. У соседей напротив, Пикаловых, висела моя фотография. Как обычно, в переднем углу, в общей — на всю стенку, деревянной рамке. Так вот, зашел к ним старшина — бойцов на постой определял, увидел фотографию и говорит:

— Я этого парня хорошо знаю. Это же наш автоматчик, он сегодня в разведку пошел.

Весть о гибели разведчиков облетела многие дворы. Дарья Пикалова подхватила, и к матери:

— Ой, кума, ой, соседка. Николай твой в разведке был!

И они завывли обе в голос, мать собиралась с утра разыскивать меня, а то и мой труп возле усадьбы МТС. Только никак ей не верилось, что меня могут убить — кого угодно, но не меня, в чем сказывался общий всем матерям слепой эгоизм любви.

— Или раненый, или живой,—

заклЮчила мать.— Надеялась я, сынок, ждала, а здесь и ты скоро.

Еще раньше, после проводов призывников, селом гуляли упорные слухи, что Грушевские ребята отстали по дороге — это было правдой, до Ставрополя добраться не успели и попали к фашистам в плен. Мать обошла несколько лагерей для военнопленных, даже в Георгиевске была, где у немцев располагался самый крупный лагерь. Выспрашивала, умоляла охрану ответить, а ее травили овчарками, и злющие собаки пооборвали, искусали мать, валяли ее, как куклу. Тогда еще высохла она с горя, враз поседела.

Дома же не пострадали. Когда заняли немцы село, то забрели рыскающие повсюду солдаты во двор, половили и унесли кур. Две курочки похитрее спрятались под крыльцом, примолкли, они живы и сейчас. В другой раз в хату сунулись: «Матка, яйки!» А отец хворый на печи лежал, Митька с Нюской корью болели, красные, как обваренные раки, в сыпи.

— Тиф,— указала на них мать, зная, что боятся гитлеровцы заразной болезни. Они как загалдят: «Тыф! Тыф!» — и долой из хаты. На воротах предупреждающую табличку повесили, ею и спасалась семья от непрошенных визитов. Все-таки Митьку, на всякий случай, мать, когда молодежь угоняли в Германию, прятала в подвале и запирала.

Теперь-то брат смелый: расхаживает по хате, автомат вскидывает, затвором щелкает. Просит: «Дай стрельнуть! Ну, дай!»

— А ну-ка, клади автомат,— сказал я Митьке.— Не игрушка это, а боевое оружие. Позабавился, и хорош.

Митька подошел нахмуренный. Обиделся. А вытянулся уже выше меня. В рубашонке ситцевой, из которой вырос, руки крепкие, мускулы бугорками, силенка чувствуется. Есть куда приложить силу братишке — колхоз поднимать нужно, ой как пригодятся его полумужские и все-таки мужские руки! Пятнадцать лет пареньку, а лиха хватанул и еще сполна хватит с этой треклятой

войной.

Нюська на год младше брата, а тоже мне по плечо. На печку забралась, переделалась ради моего возвращения — в ситцевое платьишко в полосочку, спрыгнула и вертится под рукой, глазенки не сводит. Русый волос сестренки курчавый, густой, в толстых косичках синие бантики. Хохотушка она, а здесь примолкла, взрослый разговор слушает. Щеки полные, надутые, словно тоже обижаются, но я-то хорошо ее изучил — знаю, рада до безумия моему возвращению, меня видит, поэтому и сдерживается от проказ.

И отец глаз не спускает — заскочил сын на побывку, а я гляжу на них, на комнату, и впечатление такое, вроде бы лишь вчера уходил я отсюда. Та же старая деревянная кровать, тот же почерневший от дряхлости ткацкий стан, на котором мать переткала метры и метры холстины и половиков. А чем изменилась кривая матка с кольцом для люльки? Мы выросли, люльку сожгли, а в кольцо отец халыжину вкладывал — завозимся на печи, расшумимся, он лишь руку протянет, нащупает в темноте хворостину и стегает всех без разбору, до кого дотянется.

— Расскажи, Николай, как воюешь, как в разведку ходил,— спрашивает отец, а мне неинтересно об армии, о фронтовых буднях говорить. Бой же сегодняшней, после которого и двух часов не прошло, встает в памяти каким-то странным и далеким воспоминанием. Неужели и дома не могу я на часок-другой отвлечься от тяжелого труда воины?

Мать мигом догадалась о моем состоянии. Как ей это удастся, удивляюсь — неграмотная она, письма толково не напишет, но все, что касается детей, все, о чем ты думаешь или собираешься только делать, ей известно. Вроде бы шестое чувство у нее какое, о котором можно лишь мечтать. Я бы так и назвал этот дар ясновидения особым материнским чувством. И теперь она перебила отца:

— Что накинУлся с вопросами?

Вечерять пора. Ты, сынок, не обессудь.
Чем богаты, тем и рады.

Мать накрыла стол, и белый хлеб, дымящаяся отварная картошка, капуста и огурцы звали к себе. Нюська вернулась — к соседям бегала, и принесла холодную телятину и запотевшую бутылку самогонки.

...Пожалуй, на этом пора ставить точку. Одну ночь провел я под родительским кровом, и здесь не смог на секундочку забыть о войне. Знаю, мать всю ночь просидела у моего изголовья не сомкнув глаз. Но ни она, никто другой еще не представлял, какой мне и моим однополчанам предстоит дальний-дальний, в крови и страданиях путь до полной победы над врагом.